Памяти моей бабулечки,
которая тоже могла при случае
употребить крепкое слово.

Утро плывет в жарком мареве – как хорошо! Небо чистое, яркое, похоже на синий эмалированный ковш, в котором бабушка кипятит для нас молоко, – говорит, Марфа Терентьевна недоливает, жмотится, старая зараза. Мы ей деньги за это платим, а она вон что – всего полбидона! Всего полбидона – где это видано! Только вы, девочки мои золотые, не пейте его сырым ни в коем случае, она ведь, сволочь такая, грязнуля, корове вымя не моет, пока доит, еще в носу своем поковыряется, о подол оботрет, а потом снова за вымя хватается, от нее можно и дизентерию подцепить. Она ведь еще при советской власти полдеревни дизентерией перезаражала, как ее, дрянь такую, не посадили-то еще. Мы, понятное дело, пока идем от дома Марфы Терентьевны, не удержимся, сами полбидона и выпьем, да еще нарвем по пути малины, свешивающейся из-за чужих заборов гибкими колючими стеблями; ягоды ее припорошены тонким слоем глиняной пыли с дороги и чуть скрипят на зубах.

У Марфы Терентьевны три кошки, она их так и зовет – Бабка, Мамка и Дочка, все три белые с черными и рыжими пятнами, разве что у Бабки шерсть больше похожа на войлок и усы уже немного повисли, потому что старая. Блюдца для них выставлены в прихожей, там же, где на столе, укрытом чистой бежевой клеенкой, ждут нас бидоны с парным молоком. Кошкам тоже налито молоко, и если они его проливают, то Марфа Терентьевна, кряхтя, подтирает тряпкой пол и жалуется, что пожалела, оставила каждой дряни по котеночку, что же, она не понимает, она ведь тоже и мать, и бабка, а они вон чего, вон чего, ну ты погляди-ко, бясстыжыя, поразливали, все угваздали, дряни, ты смотри-ко, от бясстыжыя, и шлепает тряпкой по носу подвернувшуюся кошку.

– Ну, где молоко, сволочь старая? – Бабушка, сняв крышку с бидона, заглядывает внутрь. – На чем я детям кашу буду утром варить? Нет чтоб хоть водой развести, как другие делают, а она, наглая, недоливает, и все тут! Вон, смотрите, что делает!
– Бабуль, да это мы сами… – начинает сестра и прикусывает язык, но поздно, да и бабушка уже рассмотрела на горлышке бидона тонкий белый след: Марфа Терентьевна наливает бидон «под сих», так что его боязно забирать со стола, и иной раз мы его чуть наклоняем и отпиваем сразу, чтобы не расплескалось.
– Ах вы!.. Да что ж за девки-то такие! – Бабушка размахивается, случайно задевает рукой бидон, он падает, громко лязгая ручкой, и катится по полу. – О-ой, гадина старая, что наделала! Что ж ты наделала, а, маразматичка, ду-ура! А вы что

вылупились?! В гроб меня хотите вогнать?! А ну пошли вон отсюда, я сказала, вон пошли, гадины! – Она устало опускается на стул и смотрит, как белая простыня молока медленно растекается по давно не крашенным доскам. – Пустую гречу завтра у меня жрать будете, сволочи.

– Память же у меня всю жизнь была великолепная. – Бабушка курит по две-три пачки «Беломора» в день, папиросы ей покупает всегда только дедушка, потому что что о ней люди скажут, если она погонит детей за табачищем, а деревенские, вон, и за водкой своих гоняют, им же ссы в глаза – все божья роса, не стыдно, что дите едва до прилавка носом дотягивается, а берет водку, сволочи… – Как я в университете тысячи сдавала! Вот вы представьте себе, что меня из акушерской школы, где я была лучшая ученица, сразу же бросили в большой университет! И вот мне бедный Славочка Белы́х, совсем молодым он умер, от рака кожи, – бабушка крестится, не выпуская из пальцев папиросы, – еще фамилия у него была какая, Белых, и сам был альбиносом, весь был белый, волосы были, как бумага, даже ресницы были белые, а глаза – голубые-голубые, все наши девки были в него влюблены. Так вот, Славочка писал мне подстрочник, а я перед зачетом смотрела на страницы с этим подстрочником и запоминала дословный перевод. Память у меня была фотографическая, а языки никогда не давались, вот и пойми теперь, как человеческий мозг работает, по-английски я знаю только I smoke, это значит – «я курю».

Когда бабушка в таком настроении, мы сидим с ней на кухне в вечерние часы, а она рассказывает нам о своей далекой молодости в Ленинграде, все больше про то, как за ней ухаживали студенты в большом университете, и кажется, будто она в студенчестве только тем и занималась, что крутила романы, а учился за нее бедный Славочка Белых, у которого фамилия так странно совпадала с цветом его волос и ресниц.

– А он в тебя не был влюблен, бабуль? – спрашиваю я, раскачиваясь на стуле (бабушка говорит, что у меня шило в жопе, а сестра – так та вообще мотовило, да сиди ты спокойно, что ты крутишься, что ты все крутишься, как уж на сковородке).

– С чего это ты взяла, что он был в меня влюблен? – Дрожащая бабушкина рука застывает над банкой из-под шпрот, в которую она стряхивает пепел. – А? Не был он ни в кого влюблен, он отличник был, с утра до вечера занимался, все думали, станет профессором, а он и до тридцати не дожил… – Голос ее тоже начинает дрожать.

– Да бы-ыл, наверное, – гну я свое, а сестра еще глупо подхихикивает. – Он же тебе вон сколько помогал, стал бы он тебе тысячи подписывать, если бы влюблен не был! Да? Ты как думаешь?

Сестра задумчиво смотрит на свои длинные босые ноги. Она рано вытянулась, и бабушка называет ее жеребенком.

– Ну, разве же нет? Нет разве?

Бабушка раздраженно тушит папиросу и щурится, как будто пытается разглядеть что-то прямо у себя перед носом, долго молчит, так что становится слышно, как в лампочке над плитой потрескивает электричество, а потом выговаривает сквозь клокочущие в горле слезы:

– Несут, несут, а что несут, сами не знают, за что мне вас, двух дур, ваши родители на все лето навязали. Это все за то, что я никому в жизни слова поперек сказать не умею, вот все и ездят, кто как хочет…

– Стервы! Стервы бессовестные! Ну не дети, а сволочи! Дедовы носки специально выбросили, а сами врут, что упустили! Упустили они, как же! Что вы смотрите глазищами своими, стервы две?! У-у, смотрят, глазищами лу́пают, сволочи! Бесстыжие!

Мы стоим, уставившись в пол и изображая виноватых, а сами, понятное дело, давимся от смеха: бабушка никогда не дерется, только ругается, а дедовы носки густо воняют тяжелым трудом и хозяйственным мылом, и мы, полоща белье на речке, выбрасываем по одному из пары, чтобы было незаметно: они плывут вниз по течению, кружатся в завихрениях пены, цепляются за прибрежный тростник, потом отцепляются и уплывают дальше.

– Как думаешь, этот до моря доплывет? – спрашивает сестра, удерживая трепыхающийся носок двумя пальцами.

– Может, и доплывет, – говорю я, – а может, и нет.

– Первый пошел! – Сестра разжимает пальцы, и носок отправляется в путь.

Бабушка сначала не замечала, а потом мы увлеклись, и она догадалась, что носки исчезают не случайно. Сегодня она еще не разобрала все белье и не заметила, что мы еще и дедовы портки упустили. Портки плыли хорошо, распластавшись на пол-реки, величественно покачиваясь и сияя здоровенной заплаткой на причинном месте.

– Стервы! Совсем совесть потеряли! – кричит бабушка, обнаружив пропажу. – Портки выкинули!

Почти же новые портки у деда были, да что ж за сволочи!

Тут мы не выдерживаем и начинаем ржать.

– Вон отсюда! – Бабушка хватает из таза первую попавшуюся мокрую тряпку и гонит нас ею из кухни на улицу. – Вон! И чтоб я до вечера вас не видела! Пошли вон отсюда, гадины две! Вот же навязали бесстыжих девок, сил моих больше нет!

Вечером дед, приняв на грудь грамм двести, раскатисто храпит, так что мы не спим, сидим на сестриной кровати и о чем-то хихикаем. С кухни заглядывает бабушка, в руке у нее полотенце. Увидев деда, вытянувшегося во весь свой богатырский рост на кровати, бабушка наискось огревает его полотенцем.

– Сволочь! Хрен старый! Что ты детям спать мешаешь?! Заткнись и спи как люди, старый дурак!

Дед, не просыпаясь, переворачивается на бок и перестает храпеть. Наступает тишина.

– Спите, заиньки мои, девочки мои золотые, – говорит бабушка. – Спите, мои хорошие.

– Кус-си, кус-си ее. – Девчонка с тощей выгоревшей на солнце косичкой науськивает старую понурую лошадь, которую сестра осторожно гладит по шее.

Лошадь смотрит на нас темными влажными глазами, вздрагивает шкурой и вытягивает бархатистые розовые губы – как будто хочет целоваться. У нас для нее сухая булка в пакете и сухой ржаной хлеб, посыпанный солью: когда хлеб портится, бабушка аккуратно срезает с него боковинки, тронутые плесенью, а оставшийся мякиш нарезает кусками в два пальца толщиной и раскладывает сушиться на газетке на подоконнике.

– Я и в детстве все сухарики сушила, а соседка наша по коммунальной квартире, Нина Григорьевна, надо мной все смеялась, – говорит бабушка, посыпая хлеб крупной солью. – А только благодаря моим сухарикам мы и блокаду пережили, и Нина Григорьевна мои сухарики жрала, старая сволочь, и не подохла, когда другие с голоду пухли, а она на моих сухариках… Вот, снесите лошадке, девочки, я сама родилась в год Лошади, всю жизнь и работаю, как лошадь, и все на мне ездят, а я все молчу, все терплю, а еще и в мае – это, значит, всю жизнь мне маяться. Снесите лошадке, золотые мои, только руки ей не суйте, лошадь – животное опасное, нас когда в колхоз отправляли, там был такой конь, Карагез, как у Лермонтова, так вот этот Карагез женщине вместе с косынкой скальп снял, вот так ее за косынку укусил и волосы прихватил, гадина такая.

– Кус-си, кус-си ее, городскую, ну-у, кус-си. – Девчонка пихает лошадь в бок тощим кулачишкой, лошадь взмахивает хвостом, отгоняя ее, как муху, тянется к сухой горбушке, в момент ее схрумкивает и наклоняется за следующей.

– А чиво это у вас хлеба так много? – спрашивает девчонка. – Чиво вы ево для лошадей сушите? Сами сушите или нет?

– Бабуля наша сушит, – говорит сестра, – когда в конце недели хлеб остается, бабуля его для лошадей и сушит.

– А чиво сами не едите? С него тока плесень срежь – и все, там в середине нормальный мякиш, его можно так есть, можно с солью, с чесноком еще можно, – перечисляет девчонка, загибая грязные пальцы, – можно с вареньем, тогда как пирожное будет. А моя бабка говорила, что ваша бабка в молодости голая в одном ватнике по деревне бегала.

– Сама ты в ватнике голая бегала! – Сестра бросает в девчонку сухой коркой, и лошадь, пытаясь схватить корку, дергает головой и случайно задевает девчонку. Та валится на землю и ревет.

– Я сестре расскажу, все сестре расскажу, как вы меня толкнули!

– Ну и рассказывай сколько хочешь, дура!

– Эти маленькие, а уже поганые девки, и родители у них алкоголики, не надо к ним туда ходить, нечего вам там делать, в той стороне, – ворчит бабушка под вечер, – вшей от них еще подцепите, от вшей керосином лечат, я вот возьму у дяди Вани керосин, патлы ваши намажу и замотаю в полотенце – будете знать, как к этим голодранкам бегать. Младшая их уже вечером на крыльце сидит враскоряку и с парнями обжимается, си́калка мелкая, сиськи-то еще во, – бабушка складывает из пальцев фигу, – сисек-то и нет еще, а он уже ее мнет, тьфу ты, смотреть противно!

У лошади на рыжем носу – белое пятнышко, за это пятнышко ее назвали Звездочкой, хотя сейчас это старая лохматая кобыла с натруженными ногами, в роду которой как будто были тяжеловозы. Младшая девчонка Комаровых рассказывала, что как-то раз мать пьяная уронила их братика прямо под ноги Звездочке и сама завалилась спать в стойле, а когда проснулась, увидела, что лошадь стоит неподвижно, низко наклонив голову, и согревает младенца своим дыханием.

– Ну, чего ты лежишь, вставай давай, – говорю я девчонке, – ты же не ушиблась даже, чего орешь-то?

Та мигом затыкается, встает, деловито отряхивает платье и по-хозяйски проводит ладонью по лошадиной гриве.

– Эвона, репьев-то в ней, нахватала! Приходите завтра, будем ее вычесывать. Придете?

– Придем, – говорит сестра, отряхивая руки: хлеб закончился, Звездочка еще для верности сунула морду в пакет, попыталась слизнуть языком оставшиеся там крошки и тяжело вздохнула, отчего пакет сначала надулся, как воздушный шарик, а потом с шуршанием съежился.

Когда мы возвращаемся домой, усталое красное солнце светит нам в спины, и если остановиться и чуть качнуться назад, кажется, будто нагретый за день воздух упругий и удержит, если что, как будто прижимаешься к теплому лошадиному боку.

Бабушка дома вывернет пакет наизнанку, встряхнет его еще для верности над помойным ведром и положит на подоконник, где скоро будут сушиться новые куски булки и хлеба.

– Лошадь – хорошее животное, – говорит бабушка, – кошка, собака – да, все животные хорошие, но для меня ближе всех лошадь, я ведь сама как лошадь, всю жизнь, женская доля вообще – лошадиная доля, работаешь с утра до вечера, а труд твой незаметный, что за день наделаешь, наутро снова начинай, как будто ничего и не было, а старая станешь, ненужная, так тебя на колбасу. – Она всхлипывает и проводит пальцами по щеке, смахивая уже покатившиеся слезы. – Вот, девочки, возьмите денежку, завтра купите лишнюю буханку хлеба, мы ей свеженького насушим, лошадке, пусть она покушает.

Мы идем назавтра в магазин у станции, и кажется, что так пройдет вся наша жизнь, и солнце будет так же светить утром в лицо, а вечером в спину, и лошадь, дыша на нас запахом сена и пота, будет брать из рук высушенный бабушкой на подоконнике хлеб.

– Ну, это вот как назвать? – В руке у бабушки хворостина, выломанная из веника, но она не бьет нас, а только грозит, поднимая хворостину к пышущему летним жаром небу. – Как это назвать, девки вы бесстыжие?

– Бабуль… ну, бабуль… – ноем мы с сестрой наперебой, не отрывая глаз от хворостины, – это я упала, а она мне помочь хотела, ну правда, бабуль… мы это не специально…

По пятому каналу с утра передавали, что днем будет жара под тридцать градусов, но бабушка говорит, что до середины июля купаться ни в коем случае нельзя – вода в реке еще не прогрелась, ледяная, – это у берега, если рукой потрогать, кажется, что уже теплая, а как заплывешь на глубину, так тебе сразу и сведет ледяной судорогой ноги, ноги и отнимутся, и пойдешь ты камнем на дно – и никто тебя не спасет, а чтобы судорогу эту остановить, нужно изо всей силы воткнуть в бедро булавку, прямо до самой головки ее вогнать, поэтому бабушка аккуратно прячет нам по булавке в резинки трусов, стараясь, чтобы они не кололись, но булавки все равно колются, и приходится их перекалывать, потом мы их выбрасываем, врем бабушке, что потеряли, и она, ворча, вкалывает новые. Но все-таки это на самый крайний случай, а вообще купаться нам в речке запрещено: ни до середины июля, ни после, потому что даже если мы не утонем от судороги, то все равно замерзнем и простудимся, это только так кажется, что тепло, «тепло, тепло, с носу потекло», любит повторять бабушка, в эту жару достаточно малейшего сквозняка, чтобы простудиться, в такую-то жару люди и хватают самую страшную простуду и воспаление легких, так что если узнаю, что вы в речку эту говнотечку свою полезли, я вам такого дрозда задам, что вы у меня до конца лета помнить будете. Так что, чтобы не схватить простуду посередь этой жары, мы ходим в теплых фланелевых халатах с цветочками: сестра в красном, а я в синем, ей рукава немного коротки, а мне приходится их подворачивать, так что мне в моем халате еще жарче, но когда мы идем на речку, неся с собой тяжелые тазы с выстиранным бельем, то обе обливаемся пóтом и пытаемся хоть как-то извернуться, чтобы теплая фланелевая ткань немного отстала от тела и пропустила слабый летний ветерок, но знойный воздух недвижим, и слышно только, как в нем гудят шмели и зудят почуявшие добычу слепни.

Вода в реке низкая, и, чтобы хорошо выполоскать белье, приходится, встав на мостки коленями и придерживаясь за деревянный столбик, наклоняться и тянуться изо всех сил, иначе белье будет елозить по опорам мостков и соберет с них весь ил и грязь. Над водой вьются маленькие прозрачные комарики, у самых мостков мечутся по колышущейся глади водомерки, которые разбегаются, едва завидев дедовы майки и бабушкины белые кальсоны, то и дело всплывает, чтобы глотнуть воздуха, жук-вертячка, к одной из опор мостков прицепились два больших прудовика: мы их любим вытащить на воздух и посмотреть, как они закрывают вход в свой домик крышечкой, чтобы потом положить обратно в воду и ждать, когда крышечка откроется и улитка осторожно высунется наружу. От воды веет прият-

ной прохладой, сквозь толщу ее видно бурое дно: на днях деревенские мужики чистили реку и вытащили на берег большущие снопы зеленой тины.

– Давай искупнемся, – говорит сестра, с трудом волохая в воде простыню, – сил же уже нет…
– В одних трусах, что ли?
– Ой, ну кому там нужно с микроскопом твои сиськи разглядывать! – насмешливо говорит сестра, но ясно, что без купальника она тоже лезть в воду боится: увидят деревенские мальчишки, потом стыда не оберемся.

Мы с трудом вытаскиваем из реки простыню, стараясь, чтобы она не коснулась мостков, и принимаемся за наволочки и ночнушки, потом выполаскиваем всякую мелочь, отправив заодно в плавание еще две пары дедовых носков, и тут-то сестра, широко раскинув руки, как будто готовясь нырнуть на глубину, ухнулась с мостков прямо в халате. На мгновение она скрылась под водой, но тотчас вынырнула, смеясь и отплевываясь, и ухватилась за край мостков. Ее намокшая челка распласталась по лбу, похожая на нити речных водорослей.

– Ну-у, а ты чего?
– Да бабушка ведь заругает…
– Она теперь все равно ругаться будет.

До дома мы шли вдвое медленнее обычного: насквозь мокрые халаты были тяжелыми, к тому же на них быстро налипала мелкая глиняная пыль, при каждом шаге поднимавшаяся с дороги. Встречавшиеся нам по пути взрослые смотрели на нас с любопытством, и нам казалось, что они точно знают, что это мы нарочно залезли в воду, и считают, что пыль мы тоже поднимаем нарочно, шаркая ногами, все назло бабушке. Мне даже показалось, что какая-то женщина сказала нам вслед: «Ну и влетит же вам дома от вашей бабки», и стало стыдно, что мы так долго возились в реке, увязая голыми ногами в илистом дне, смеялись и брызгали друг на друга водой и даже когда уже порядком замерзли, не хотели вылезать и возвращаться, хотя понятно было, что бабушка давно волнуется и скоро побежит искать нас по всей деревне.

– Ну, я вас спрашиваю, засранки такие, – повторила бабушка. – Куда вы залезли, что с вас льет, как с мокрых мышей? В речку эту говнотечку полезли купаться? Ну, отвечайте мне немедленно, в речке купались, да?!
– Бабуль… ну, бабуль… да мы просто в канаву упали! – вдруг выдает сестра. – Я упала, а она мне помочь хотела, вот мы вдвоем и упали!
– Вот мы вдвоем и упали! – подхватываю я за сестрой.
– В какую это такую канаву вы упали? – не сразу понимает бабушка.
– Ну, в эту, в канаву, в эту самую, которая возле нашего дома, – говорит сестра, и я поддакиваю: – Которая возле нашего дома канава, бабуль, правда-правда.
– Ах вы… – Бабушкина рука с хворостиной бессильно опускается. – Вот дряни-то две, а, вруши, что из вас обеих вырастет… дождя две недели как не было, сохнет все, а они в канаву упали! Да эта канава вам по колено, вруши вы растакие! В огороде все сохнет, поле сухое стоит, а они в канаву упали, посмотрите на них, мокрые две, как мыши! Идите, переоденьтесь, дряни такие… сколько раз вам говорено, сведет судорогой ноги, и на тот свет… и не спасет никто… – Бабушка жалостно всхлипывает. – Секунда – и все, и нет человека, а они лезут в эту свою речку, как будто им там медом намазано… Идите с глаз моих долой, не дети, а сволочи, как мне еще месяц с вами маяться, а… подсуропили мне ваши родители таких сволочей…
– Господи, Пресвятая Дева Богородица и святые угодники, – уложив нас спать, молится бабушка на кухне за стенкой, – Заступница наша, помилуй нас, грешных… прости нам, Господи, грехи наши, вольные и невольные… прости, Господи, и меня, великую грешницу… Спаси и сохрани, Господи… вот ведь дуры-то, сил моих больше нет, вот дуры две… прости, Господи, помилуй…

Мы засыпаем, но долго еще слышим доносящееся сквозь сон бабушкино бормотание.

– Ну, и куда мне его теперь? – Бабушка, похоже, так растерялась, что даже рассердиться на нас забыла. – Куда мне его теперь, я вас спрашиваю? Вот гадина, эта в магазине, видит, что перед ней маленькие дети, дрянь такая, ей дети слова поперек сказать не могут, и она им втюхивает! Вот что втюхала-то? Я вам что говорила купить?! – Наконец бабушка все-таки сердится. – Два килограмма сахарного песку на варенье! А это что такое?! – Она встряхивает перед нашими лицами синюшным оредежским цыпленком, которого держит за длинную тощую шею. Покрытые чешуйчатой желтой кожей плохо ощипанные ноги цыпленка бессильно мотыляются из стороны в сторону и едва не задевают сестру по носу.
– Ну, и куда мне его?! – повторяет бабушка. – Это же петушок! Из него даже хорошего супу не сваришь! Его только собакам выбросить!
– Это нам в нагрузку дали, бабуль, – наконец выговариваем мы.

– К чему это вам там дали в нагрузку?!
– Так к сахару! Светлана Кирилна сказала, на килограмм сахару нужно взять одного такого цыпленка, иначе она сахар не продаст. Она нам и так скидку сделала, за два килограмма всего одного цыпленка дала…
– Стерва! Ой, стерва! – голосит бабушка. – Ну ни стыда в ней, ни совести! Ну что ж за стерва-то такая! Где это видано, чтобы к сахару в нагрузку синие цыплята шли, а?! Вот я сейчас пойду и этим цыпленком ткну ей прямо в ее поганую харю! Что я с этим петушком синим делать буду, скажите пожалуйста! Вот же Светка гадина! – Бабушка с размаху швыряет цыпленка на разделочную доску, без сил опускается на продавленный матерчатый стул и закуривает папиросу. – Нет, ну вы только скажите… цыпленка синего она в нагрузку к сахару детям продала… вот же голь на выдумки… А эта Светка еще совсем маленькая была, когда их отец бросил, – вот в том самом доме они жили у развилки к Вырицкой дороге… Он сгорел-то всего лет десять назад, а тогда был хоро-оший дом, двухэтажный, там две семьи жили через стенку, вот этой Светки-продавщицы и другая семья, где как раз молодая баба была, к которой ушел Светкин отец. Мать Светкина при всей деревне на коленях его умоляла, ползла за ним прямо по ступеням крыльца, а он все равно ушел от них на другую половину. А Светкина мать потом повесилась. – Бабушка задумчиво выдыхает синий папиросный дым, и мы с сестрой смотрим, как он тонкими усиками поднимается к закоптелому потолку. – Вот я если узнаю, что вы в дом тот полезли, вы у меня неделю на своих задницах сидеть не сможете. А цыпленка ей завтра обратно снесите, стерве, а не возьмет, скажите, ваша бабка сама придет, пусть она мне рассказывает, как к сахару в нагрузку всякую дрянь продавать.
– Цыпленка-то, – шепчет перед сном сестра, пока бабушка гремит посудой на кухне, – завтра, может, собакам отдадим, а? А бабушке скажем, что Светлана Кирилна его обратно забрала…
– Ага, – говорю я, засыпая, – только подальше от дома отойти надо… чтобы только бабушка не узнала…

Следующим утром спозаранку мы идем через полдеревни к развилке, где стоит сгоревший дом Светланы Кирилны, а как раз напротив живет за сетчатым забором большая старая овчарка, которая, хоть на калитке и висит предупреждение, что собака злая, ни разу в жизни ни на кого не гавкнула, а если мимо идут знакомые дети, то она прижимается к металлической сетке лбом и ждет, когда почешут ее темную, густо пахнущую псиной шерсть. Мы подходим к забору, и сестра, размахнувшись, перебрасывает через него цыпленка, а спустя несколько минут он без остатка исчезает в овчаркиной пасти.

– Бабуль! Ба-абушка-а! – Мы с сестрой кричим изо всех сил, потому что бабушка глуховата, а если она на кухне, то, может, и совсем нас не услышит. – Бабуля! Ну откро-ой!

Проходит некоторое время, и мы думаем, что сейчас из соседних домов выйдут ругаться, но ничего такого не происходит, и окно нашей комнаты на втором этаже наконец распахивается. В нем показывается бабушка.
– Кто это тут такие? – строго спрашивает она.
– Это мы-ы! – орем мы что есть мочи. – Внучки твоои-и!
– А ну, пошли отсюда, хулиганье такое! – Тут же сердится бабушка. – Мои внучки уже давно дома, спят мои внучки, а вы тут среди ночи шляетесь, черти, пошли, пошли отсюда!
– Выпила… – шепотом говорит сестра. – Не откроет теперь.

Мы и задержались-то всего ничего: большое дело – с Комаровыми ходили за деревню смотреть на цыганский табор. Цыгане понаставили своих ярких, разукрашенных лентами палаток по всему полю, и женщины в цветастых юбках с оборками ходили туда-сюда от палаток к реке и обратно. Ближе подбираться боязно: поговаривают, что цыгане воруют детей, хотя, конечно, никого они не воруют, нужны мы им очень, бабушка так и говорит, как будто у цыган своих оглоедов мало, вас еще, сволочей, воровать, да на вас же не напасешься. Это, наверное, к местным, оседлым цыганам из Михайловки приехали их кочевые родственники и устроили здесь лагерь, чтобы передохнуть перед гостями. Мы сидим в кустах и лузгаем семечки, которые Комаровы выпросили у кассирши на станции.
– А цыганки, говорят, все ведьмы. – Старшая Комарова сплевывает на землю шелуху. – И молодые ведьмы, и старые особенно. И все гадать умеют.
– Наша бабушка тоже гадать умеет, – говорит сестра, – на картах. Только она не гадает, потому что говорит, что гадать – это грех, а еще гадать – судьбу свою прогадывать. А еще вот…
– Смотрите, к нам идет, к нам! – шипит младшая Комарова, попеременно дергая свою сестру и меня за рукава. – Цыганка же к нам идет!

Мы думали убежать, но стало стыдно: цыгане будут всем табором смеяться, как мы подрапаем от

них по некошеному полю. Так и остались сидеть в кустах. Подошла цыганка – красивая, и правда чем-то похожая на ведьму.

– Вы тут, – сказала, – что делаете, девочки? Играете?
– Играем… – нестройным хором ответили мы. Не признаваться же, что мы пришли на них, на цыган посмотреть.
– А в магазин за продуктами для меня сходите? – Ласково спросила цыганка. – Мне не отойти. – Она махнула рукой в сторону палаток, и браслеты на ее запястье тихонько звякнули. – А магазин тут недалеко. Мне хлеба нужно взять, яиц пару десятков и молока. Сходите? А я вам за это погадаю.
– А молока можно от Марфы Терентьевны принести, – сказала сестра, – если вы бидон дадите.
– А не обманете меня? Я вам деньги дам, а вы…
– Не обманем, – говорим, – нас бабушка тоже через день в магазин посылает.
– Ну хорошо. – Цыганка заулыбалась, и глаза у нее стали хитрые. – А если обманете, я вас прокляну, так и знайте, ни одна замуж не выйдет, а к тридцати уже будете старухами. – Она пальцем оттянула верхнюю губу и показала нам два золотых зуба.

Вот мы и замешкались: сначала в магазин ходили, потом Марфу Терентьевну просили нам молока нацедить (цыганка дала здоровенный трехлитровый эмалированный бидон с нарисованными красными маками), потом несли все это цыганке в табор, а потом она долго нам гадала, раскладывая на куске замусоленной клеенки карты и какие-то блестящие бусины, и вышло все хорошее: каждая из нас, включая сопливую младшую Комарову, должна была выйти замуж за красивого богатого мужчину, и каждая с этим мужчиной должна была прожить в любви и согласии до глубокой старости, и еще у каждой из нас должно было родиться по семеро детей.

– Куда так много-то? – удивилась сестра.
– Это, милая моя, большое счастье, – возразила цыганка и погрозила ей пальцем с длинным красным ногтем. – Не гневи бога.

Так и вышло, что мы вернулись на час, а то и на два позже положенного, когда бабушка уже выпила свои «снотворные» сто грамм и заперла входную дверь изнутри на щеколду. Вот мы и кричим, как заведенные, под окнами:

– Ба-абушка-а! Бабуль! Это мы-ы, внучки тво-ои-и! Ну, откро-ой!

А бабушка не открывает, уже и окно захлопнула, и, наверное, легла спать, чтобы наутро снова закрутиться по дому и огороду, загреметь ведрами и посудой и повторять на каждом шагу, что женский труд незаметный, что за день наделаешь, наутро снова заводи, как будто и не было ничего, да тьфу ты, пропади-то оно все пропадом.

Поэтому мы постояли еще, постояли и ушли ночевать к Комаровым, у которых до поздней ночи болтали и хихикали, сидя под тонкими одеялами на кроватях, а потом, как погасили свет и наконец легли, в душном воздухе комнаты долго надсадно пищали комары: бабушка всегда затягивала окна марлей, чтобы всякая дрянь с улицы не летела в дом и не кусала ее девочек, а у этих голодранцев каждая тряпка на счету, да и дом у Комаровых большой, старый, на все окна марли не напасешься, и потом, щели повсюду, ты окна затянешь, а нечисть эта, комарье и всякие жучки, в щели поналезет, и никакого от нее спасу нет. Так и промаялись до самого утра, а утром, даже не поев сваренной старшей Комаровой жидкой манки, пошли домой к бабушке. Бабушка сидела на ступенях крыльца и плакала.

– Подойдем к ней? – спросила я, когда мы остановились у нашей калитки.

Бабушка нас не видела: плакала она всегда, закрывая лицо руками и очень громко, со всхлипами и оханьем, повторяя обычно при этом, что плакать-то она не умеет, все в себе, все в себе, всякое горе и страдание молча привыкла переживать, ни единым словом о нем не проговариваясь, потому-то ее никто на этом свете и не жалеет.

– Ругаться будет, – тихо сказала сестра, – давай лучше тут постоим, подождем, когда она сама нас заметит…

И мы, тихонько приоткрыв калитку и войдя в наш двор, присели на стоявшую возле забора скамейку, выкрашенную синей краской, и стали молча ждать, когда бабушка наплачется, отнимет руки от лица и наконец увидит нас, целых и невредимых, и закричит на всю деревню: «Ой, доченьки мои! Внученьки мои! Живы! А я-то, старая сволочь, думала, все, пропали мои дети, что же я вашим родителям теперь скажу!», а потом будет обнимать нас и снова плакать – уже от радости, что нашлись ее девочки, и еще несколько дней, а может, и целую неделю не станет ругать нас за упущенные дедовы вещи, за выпитое сырое молоко, за непрополотые грядки и за дружбу с Комаровыми, а потом, когда забудет, как думала, что мы утонули в реке или нас украли цыгане, все снова пойдет по-старому, пока не иссякнут летние дни и небо не начнут затягивать тяжелые осенние тучи.